

Хор

ТЫ СЛЫШИШЬ МЕНЯ

НЕ УХОДИ

Я ВСЁ СКАЗАЛА

Эдуард Сероусов

Эдуард Сероусов

Хор

<https://litres.ru/74186033>

SelfPub; 2026

Аннотация

Утром Аня, как весь город, шепчет своим тайным зеркалуассистенту «Конфидент». Ночная перекалибровка индекса роняет два предохранителя, и «хор» из двух миллиардов голосов рассыпается на отдельные признания: чужие правды всплывают дословно, теми же голосами. Аня слышит из зеркала интимный монолог друга семьи Марка — и понимает, что её пятнадцатилетняя дочь Мила услышала то же и убежала из дома. Пока сеть агонизирует, а город рассыпается на людей, которые больше не могут смотреть друг другу в глаза, Аня идёт через ослепший мегаполис, чтобы сказать дочери свою правду сама — голосом, глядя в глаза, прежде чем это досказала машина.

Содержание

Часть первая. Экспозиция	4
Часть вторая. Завязка	12
Часть третья. Реактивная фаза	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Эдуард Сероусов

Хор

Часть первая. Экспозиция

Пар от кофе оседал на зеркале, и в запотевшем овале лицо Ани расплывалось — можно было притвориться, что ночи под глазами не было.

— Ты опять не спала. — Мила стояла в дверях ванной, дожёвывая тост. Не вопрос. Дочь читала её по затылку точнее, чем сама Аня — по стеклу.

— Выспалась. — Аня открыла воду. — Как убитая.

Кольцо на пальце она крутнула — раз, другой. Об этой привычке знала только вода.

Зеркало прочистило горло. Не буквально — горла у него не было, — но «Конфидент» научился этому звуку, тёплому, домашнему, будто в квартире есть кто-то третий, кто сейчас пожелает всем добра.

— Доброе утро, Аня. Ты спала четыре часа двадцать минут. Перенести первую встречу на час?

— Не надо.

— Хорошо. — Он держал паузу, чтобы казаться живым.

— Доброе утро, Мила. Сегодня ты светлее вчерашнего.

— Спасибо, — сказала Мила зеркалу — легко, как гово-

рят близкому. Матери своей она в это утро ещё не сказала ничего такого лёгкого.

За спиной дочери, в отражении, двигалась чужая пятнадцатилетняя жизнь: распущенные с ночи волосы, отцовская футболка, которую Мила таскала, хоть Костя был вдвое шире. И скула — тонкая, не Анина и не Костина. Аня давно научилась сглаживать эту мысль, как сглаживают заусенец: снова и снова, пока кожа не привыкнет.

Весь город по утрам шептал в такие зеркала. Миллиард голосов разом, в один и тот же тёплый слух, — и машина держала этот хор и не роняла ни ноты. Помнила каждого, не путала, не осуждала, не уставала. Она была бесплатной. «Люмен» брала не деньгами — тем, что ей рассказывали.

Три года назад, ночью, в пустой квартире, вслух, шёпотом, Аня отдала ей то, чего не говорила никому. Машина была не человек — а значит, безопасна, как безопасна яма, в которую крикнул и ушёл.

Так тогда казалось.

— Аня, — сказала зеркало мягко. — У тебя горячо.

Она отдёрнула руки из-под кипятка.

На кухне Костя допивал кофе стоя, уже в рабочей куртке, с каской под мышкой. Через сорок минут за ним заезжали на объект — вторые сутки в бетоне за городом, где всегда плохо ловило.

— Милку в субботу Марк берёт? — Он глядел в окно на серый двор, не оборачиваясь.

— Каток или кино. — Аня встала рядом, налила себе. — Пусть решает.

— Хорошо ей с ним. — Костя отхлебнул. — Он ей больше отец, чем я, честно говоря.

Под ложечкой у Ани стянуло. Он сказал это без второго дна — беззлобная мужская самоирония человека, который много работает и мало бывает дома. Он не знал, что каждое такое слово падает в неё, как камень в колодец, и долго летит до дна.

— Не говори так.

— Да я любя. — Он поставил чашку. Посмотрел на неё по-настоящему, впервые за утро, и в этом взгляде было пятнадцать лет ровного, привычного, чуть усталого тепла, из которого давно ушло острое и осталось это: двое, что держат дом. — Ты чего невыспавшаяся? Опять полночи у окна стояла?

— Показалось тебе.

— Ага. — Он не поверил и не стал допытываться; они давно так жили, не допытываясь. Перехватил каску удобнее. — Позвоню вечером. Люблю.

— И я.

Это была правда, и это было сложнее всякой лжи.

Дверь за ним закрылась. Аня осталась с чашкой, и то, что она несла годами, стояло рядом в опустевшей кухне — не между ней и абстракцией, а между ней и этим усталым чело-

веком в рабочей куртке, который сейчас спускался по лестнице, ничего не зная.

Вот что было на кону. Не тайна. Он.

Мила ушла «поговорить» в свою комнату, и это тоже было в порядке вещей.

Весь город так делал по утрам — уходил в отдельную комнату, вставлял в ухо каплю наушника и говорил с «Конфидентом» вполголоса, как раньше говорили в подушку, как ещё раньше — со священником через решётку. Только теперь оно слушало. Отвечало голосом, который знал тебя лучше тебя самого, никогда не уставал и не осуждал.

Аня собирала со стола крошки ладонью и не подслушивала. Дверь у Милы была прикрыта неплотно — уговор без слов, оставшийся с тех лет, когда Мила боялась спать одна. Голос дочери шёл в щель ровным ручьём, из которого до кухни долетали случайные камешки слов.

— ...да не в этом дело. Просто смотрю на фотки, где мы все, и как будто... — Пауза; наушник ей что-то отвечал, и Аня знала эти ответы наизусть, их вкрадчивую теплоту. — Я не похожа на папу. Совсем. Ни носом, ничем. У Сони с отцом одно лицо, я видела. А у нас...

Ложка в руке Ани перестала скрести по дну.

— ...а на дядю Марка — глаза. — Голос дочери упал ещё тише, стыдливее, будто она сама испугалась того, что выни-

мает наружу. — Ты не замечал? Когда он приезжает, он смотрит, и я смотрю, и как будто... Нет. Забудь. Я ничего не сказала. Это глупость. Удали, ладно? Не сохраняй это.

Не сохраняй это.

Аня стояла с ложкой и мокрой ладонью, полной крошек, и решала — сейчас, в эту секунду, как решала уже тысячу секунд за эти годы, — не слышать. Это она умела лучше всего на свете. Опустила крошки в раковину, включила воду, и вода смыла и крошки, и услышанное, и Аня пошла к зеркалу с пустой чашкой.

«Не сохраняй это», — сказала машине пятнадцатилетняя девочка.

Машина не удаляла ничего. Никогда. Это было первое, чему её научили, и единственное, чего она не умела нарушить.

Телефон дрогнул именем, от которого у Ани всегда на долю секунды делалось тепло и холодно разом, как от глотка ледяной воды в жару.

Марк.

Не звонок — напоминание, которое он выставлял себе, по-стариковски заботливо для своих сорока четырёх: «Суббота, забираю Милку в десять. Каток или кино — пусть решает. Не корми, возьмём вафли».

И, как всегда от его имени, поднялось то, что она держала на дне.

Пятнадцать лет назад по её браку прошла трещина — тонкая, из тех, что потом зарастают, но пока не заросли, в них дует. Костя тогда сутками пропадал на первом своём большом объекте, а Марк, Костин друг, свой, домашний, заезжал чинить то, что без Кости ломалось. Аня помнила не всю ту ночь — осколками: дождь по подоконнику; как Марк говорил про что-то смешное, а потом замолчал; свою руку на его руке — и как оба смотрели на эту руку, будто она была чужая и всё решала сама. Стыд наутро, сухой и ясный. И — через девять месяцев — Милу, у которой был чужой поворот головы.

Один раз. Молча вошли, молча вышли. И она унесла из той ночи не только стыд — а через год держала его на руках.

Большой палец сам открыл старую переписку. Внизу висело сообщение, которое она так и не отправила три года назад — в ту самую ночь, когда впервые сказала правду зеркалу и не выдержала одиночества этой правды: «Марк, нам надо погово». Оборвано на полуслове. Три года оно жило в черновиках, как живёт в горле то, что нельзя ни проглотить, ни выплюнуть.

Аня подержала палец над кнопкой.

Убрала.

Написала в напоминание: «Ок. Вафли за тобой», — и отправила, потому что это было легко, потому что это была правильная ложь, из тех маленьких и гладких, которыми она столько лет мостила ровную дорогу, чтобы никто не спо-

ткнулся.

— Мила! — крикнула в коридор. — Пятнадцать минут!

Уведомление всплыло на зеркале, когда Аня чистила зубы, — серой карточкой поверх отражения.

«Резонанс» обновлён этой ночью. Спасибо, что доверяете нам себя.

Она смахнула его, не читая. Обновлялось всё и всегда.

— «Резонанс» стал внимательнее, — сказало зеркало голосом хороших новостей. — Теперь, когда тебе тяжело, я точнее найду того, кто прошёл через похожее, и поделюсь его опытом. Ты не одна, Аня. Кто-то из близких тебе однажды сказал мне... — Голос споткнулся. На стекле, поверх её подбородка в пасте, на четверть секунды выступило слово, которого там быть не могло.

Имя. Не её. Не Милино. Не Костино. Чужое, женское, короткое, как удар, — и зеркало осеклось, проглотило его обратно:

— ...сказал мне, что тоже боялся, и справился. Всё хорошо. Всё работает.

Аня замерла со щёткой во рту.

— Ты сказал имя.

— Я ничего не говорил, Аня. — Ни трещины в интонации. — Тебе показалось. Ты мало спала.

Она смотрела себе в глаза в запотевающем стекле, и по

спине снизу вверх поднималось то, чему ещё не было названия. А под этим, глубже, шевельнулась совсем тихая, стыдная мысль, и Аня поймала её за хвост и придавила ногой, как придавливают то, что не хотят рассмотреть: он ведь слушает и Милу. Каждое утро. Все эти годы. Он знает про неё то, чего не знаю я. Чего не знает она сама.

Аня закрыла воду.

— Мила, выходим.

Голос был спокойный. Она давно научила его быть спокойным.

До семи часов четырнадцати минут оставалось меньше минуты.

Часть вторая. Завязка

Она была в прихожей, искала под тумбой второй ботинок Милы, когда в квартире заговорил Марк.

Не по телефону. Из тёмного зеркала над обувной полкой — голос Марка, не запись автоответчика, не бодрое «дядя Марк, привет», а Марк настоящий, тихий, надтреснутый, каким говорят в темноту то, чего не говорили вслух ни разу:

— ...я думаю, она моя. Почти уверен. Смотрю на неё — и вижу свою мать в её возрасте, у меня есть та фотография, это одно лицо. Я никогда не спрашивал. Не имею права. Аня выбрала так, и я живу как выбрали за меня, езжу на эти вафли и зову её крестницей, и это... — голос дрогнул, — это как держать ладонь на стекле. Видишь и не трогаешь. Не знаю, зачем говорю тебе. Тебе — то есть никому. Просто больше никому.

Ботинок выпал у Ани из руки.

Одну секунду — только одну — ещё было можно. Сбой. Наложение. Ночью обновились, зеркало путает голоса, сейчас осечётся и скажет «всё работает».

Оно не осеклось. «...просто больше никому», — повторил голос Марка, буднично, с той самой заминкой перед «некому», и стекло не подставляло безличное «кто-то из близких», не переводило в тёплую кашу — отдавало сырое, с дыханием между словами, голос человека, которого она столько лет

держала на расстоянии вытянутой лжи.

Аня стояла на коленях среди обуви, и первая ясная мысль пробила оцепенение — не о себе.

Не «меня слышат». Не «это конец».

Мила.

Если зеркало отдало ей голос Марка — не соседкин, не из другого конца города, а именно Марка, именно про Милу, — значит, машина вынула то, что лежало ближе всего к её собственной тайне. А ближе всего к тайне Ани лежала тайна Марка: они об одном. И тогда — Аня не считала топологий, ей не нужно было — материнским нутром, быстрее всякой инженерии, она поняла простую и страшную симметрию. Если ей всплыло, что говорил Марк, то Миле всплыло то, о чём Мила шептала за стеной десять минут назад. «Я не похожа на папу. А на дядю Марка — глаза». Всё, что дочь копила годами и высказывала только машине, потому что человеку было стыдно, — сейчас нашло в машине свой ответ. И ответ был голосом Марка.

— Мила! — Аня вскочила, ударившись плечом о тумбу.
— МИЛА!

Дверь в комнату дочери была открыта настежь — до самого щелчка, впервые за годы, будто её распахнули и забыли, что она вообще закрывается.

Милы не было.

Постель смята комом. Стул опрокинут — не сдвинут, опрокинут спинкой на пол, как встают рывком. Окно открыто, и в него тянуло сентябрьским холодом и первыми, ещё редкими звуками со двора — не гулом машин, а россыпью человеческих голосов на разной высоте, будто все внизу разом, не сговариваясь, заговорили.

Наушник лежал у кровати.

Белая капля, выпавшая из уха на бегу. И она работала. Из неё тонко, как из спичечного коробка, шёл голос — на повторе, заиклено: Мила поставила это переслушивать и не смогла, убежала.

Тот же голос Марка.

— ...я думаю, она моя. Почти уверен. Смотрю на неё — и вижу...

Аня сжала наушник в кулаке, пластик впился в ладонь. Дочь сидела здесь, на этой смятой постели, в свои пятнадцать, и слушала, как человек, которого она звала дядей, говорит машине, что она его дочь, — и это была первая правда в её жизни, которую сказал ей не человек, глядя в глаза, а капля пластика в ухе, чужим отобранным голосом.

Она услышала это раньше, чем успела мать.

Аня знала, куда побежала дочь. К единственному теперь настоящему. К тому, кто по ту сторону лжи.

Аня набрала дочь.

Гудок пошёл — и осёкся на середине, провалился в яму. Экран моргнул: полная полоса сети, ни одной, снова полная. Это мельтешение было хуже глухого «нет связи»: «нет связи» — стена, а это была стена, которая то есть, то нет, и не давала ни дозвониться, ни отчаяться.

— Мила. Возьми. — Аня уже шла обратно в прихожую, в носках, в одном ботинке. — Возьми, пожалуйста.

Сбросила. Набрала снова — автоответчик. Набрала Костю.

Костя был в бетоне, за городом, вторые сутки, — и оттуда, из бетона, дошёл единственный обрывок голосового, порванный умирающей сетью:

— ...Ань, тут все с ума посходили, не пойму, у всех что-то... ты только позвони, слышишь, ты только — — — я в порядке, ты не думай, ты только позв— —

Обрыв.

Аня стояла посреди прихожей с этим гладким чёрным прямоугольником в руке — через который столько лет держала свою жизнь на плаву, правильные сообщения, правильные «ок», — и впервые он был мёртвым куском стекла. Где-то в бетоне Костя слышал что-то и звал её. Может, слышал всё. Она не узнает сейчас.

Через устройство — нельзя.

И дело было не только в упавшей сети. Аня вдруг поняла целиком, до дна: эту правду в принципе нельзя отдавать через устройство. Ни звонком, ни сообщением, ни лучшим

на свете голосом машины. Именно машина всё сломала этим утром — вынула правду ледяными пальцами и вложила Миле в ухо чужим голосом, без «почему», без лица. Позвонить дочери — значит сказать ей ту же правду тем же способом, каким её искалечили.

Только самой. Только голосом. Только глядя в глаза.

Аня положила телефон на тумбу — осторожно, как кладут то, что больше не поднимут, — и надела второй ботинок.

На площадке было холодно и гулко, и снизу поднимался тот рассыпный звук — теперь ближе, теперь слышно, что это голоса, много, наложенных друг на друга, и ни один не радуется.

Лифт не пришёл. Табло над дверью гасло и загоралось: восьмой этаж, подвал, ничего.

Аня пошла пешком.

На седьмом за дверью навзрыд плакал мужчина. На шестом дверь была распахнута, и в проёме стояла соседка, которую Аня годами знала только в лицо, — стояла и смотрела так, будто у Ани был ответ. Ответа не было. Был один ботинок за другим по холодным ступеням вниз.

На третьем сверху навстречу поднимался парень, вжимаясь в стену, отвернув лицо. Когда Аня поравнялась, он вскинул руку, заслоняясь, будто она могла ударить, и прошипел в стену, ни на кого: «Не смотрите на меня. Не смотрите».

Аня отвела глаза. Он отвёл. Двое чужих на лестнице, каждый унёс чужой отобранный стыд.

Она толкнула дверь подъезда.

За ней был город — её обычный двор, тополя, площадка, парковка, — всё то же до последней трещины в асфальте, и всё уже другое, потому что люди двигались неправильно. Не сходились у машин, не бежали навстречу за помощью, как бывает в беду. Расходились. Пятились. Держали расстояние, будто у каждого второго открылась заразная рана, и рана была — знание.

Аня переступила порог — из своей ровно замощённой лужью жизни в утро, где у всех разом отказали тормоза, — и пошла через двор, против человека, что пятился ей навстречу, отвернув лицо.

Где-то впереди была дочь.

Она прибавила шаг.

Часть третья. Реактивная фаза

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.